

АКАДЕМИЯ В ЛИЦАХ

Заслуженный профессор МДА К.Е. Скурат: Воспоминания о детстве



Часто, говоря об истории и славных традициях нашей Духовной школы, мы не задумываемся над тем, что за словом «Академия» стоят судьбы конкретных людей, посвятивших свою жизнь служению Богу и Церкви. В их судьбах находят отражение прошлое, настоящее и будущее «духовного вертограда».

Одним из таких людей является Константин Ефимович Скурат — заслуженный профессор МДА, её бессменный преподаватель с 1955 года, известный патролог, доктор церковной истории.

Предлагаем вашему вниманию воспоминания Константина Ефимовича. Знакомство с ними даёт уникальную возможность соприкосновения с эпохой, в которую начинался жизненный путь этого, по словам Святейшего Патриарха Алексия II, «труженика и подвижника нашей богословской науки», оказавшего заметное влияние на жизнь Академии в послевоенный период.

В эти Рождественские дни 2004 года, я вновь¹ сажусь за письменный стол, чтобы вспомнить нечто из прошлого — от детских лет и до библейских. Именно Рождество Спасителя напомнило и мне, что когда-то было и мое маленькое явление в Божий мир, и вот уже идет 75-ый год пребывания в нем. За это время произошло много событий: и светлых и серых, и добрых и лихих. Последние, слова Богу, забываются, а первые — светлые, добрые — сохраняются в памяти, живут в сердце...

Как и перед написанием моих первых воспоминаний, я и ныне обращаюсь к нашему Спасителю с тем же молением:

«Господи, помоги мне вспомнить и сказать правду, и только правду! Если же сказать ее нельзя и сегодня, то не допусти меня даже до малейшей лжи или лести, или до такой правды, которая не принесет пользы».

Родители

К моему глубокому сожалению, о родителях я знаю очень мало. В селах ведь не принято рассказывать о себе — живут крестьяне в постоянных заботах, в труде, некоей изолированности, ограниченности интересов и потребностей. Расспросить же о родителях уже некого: ушли в мир иной все близкие родные и соседи. Знаю только, что папа — Ефим Устинович — уроженец села Комайска, а мама — Татьяна Самуиловна — соседнего села Гечанцы. Познакомились же они в Петрограде, где оба работали на Путиловском заводе. В 1918 году, когда жизнь в городе осложнилась, они вернулись на родину, где и вступили в брак.

Папа был большим умельцем, о таких говорят: «у него золотые руки». И действительно, кажется, он все умел; во всяком случае, он делал многое, разнообразное: ковал медные кружки, тазы, кастрюли, делал ножи, без конца что-то паял и пилил; у местного помещика — гордого Вульмера — он заведовал всей техникой небольшого завода. Сейчас, вероятно, сказали бы: был главным технологом. К тому же он был прекрасным гармонистом — гармонь в его руках заливалась не хуже стайки соловьев. Играть он очень любил — выйдет

¹ Первые мои воспоминания были завершены 29 июля 1998 года. Они относятся к годам моего обучения в Минской духовной семинарии (1947–1951) и Московской духовной академии (1951). См.: Скурат К.Е. «С 1947 года... (воспоминания)» // «Богословский вестник», вып. 3, Сергиев Посад, 2000, с. 18–60.

вечером на улицу, сядет на скамеечку — и польются реки «дунайские», «амурские», местные... А с каким задором играл он белорусскую польку — прохожие невольно начинали пританцовывать! Особенно потешно было смотреть на пытающихся танцевать старушек и старичков...

Трудно поверить, что никого из них уже нет в живых... Деревня опустела... Боже мой! Как летит время и с какой непобедимой силой уносит все с собой...

Самое важное то, что отец был глубоко православным человеком и входил в состав приходского совета нашей Комайской церкви во имя пророка Илии, приписанной к Докшицкой городской церкви. Богослужения он старался посещать неопустительно. Если же он по какой-либо причине не мог пойти в Божий храм, то сажал меня за богослужебные книги и велел читать всю Божественную литургию — от начала и до конца. Сам стоя слушал, иногда поправлял меня. И только после такого «богослужения» приступал к делам, а мне разрешал брать санки и бежать на близлежащую горку. Примечательно, что если я, в отсутствие отца, что-то сокращал в Божественной литургии (ради ускорения) — на горке непременно происходило что-либо неприятное для меня, то я разбивал до крови нос, то раздирал штанишки, то меня кто-либо обижал.

В 1936 году советские войска «освободили» нас от «гнета» панской Польши (я забыл сказать, что мы жили в Западной Белоруссии возле самой польско-советской границы, примерно метров 600–700). Это «освобождение» все верующие хорошо запомнили, ибо сразу же советские власти стали закрывать храмы. Метод закрытия был предельно простой, но и предельно издевательский: облагали храм податью, верующие собирали по копейке и платили налог, но только они успевали вернуться домой, как вслед за ними приходили новые и новые извещения на налог, причем каждое новое извещение было страшнее предшествующего. В конце концов, верующие изнемогали и со слезами уходили из храма. На двери храма сразу вешали замок и никому не разрешали к храму даже приближаться. Это попрание православных святынь, в том числе и Комайской церкви², все мы глубоко и страдальчески переживали. Я хорошо помню, как после одного из богослужений вышел из алтаря седенький митрофорный протоиерей Николай Плещинский (потом он направлял меня в Минскую духовную семинарию — Царство ему Небесное) вышел на солею прекрасного каменного храма, им же недавно (при Польше) построенного и дрожащим голосом со слезами на глазах сказал: «Дорогие братья и сестры, дорогие прихожане сего святого храма! Нам снова прислали налог...» Больше он говорить не мог, а вскоре храм был закрыт... Отец принимал все близко к сердцу и продолжал ходить на общую молитву.

С приходом в 1941 году немцев ситуация несколько изменилась: стали открываться храмы, колхозы разваливались, появились молодые священники — на некоторое время мы ожили.



С профессором М.А. Старокадомским и игуменом Марком (Лозинским)

Отец во время немецкой оккупации тяжело заболел: что-то случилось с желудком. Поставить диагноз некому было, да и лечить было невозможно, и 18 июня 1943 года он отошел ко Господу. Верю, что отошел именно ко Господу, потому что и жизнь его была православной и кончина блаженной. Перед самой кончиной он, прежде всего, позвал к себе мою маму и нас троих братьев: Феодора (†1993), Ивана (†2002) и меня. Подошли сначала мама и братья, я же в испуге стоял у порога. Отец благословил их и сказал: «Слушайте во всем маму и живите в мире». Затем, взглянув на дрожащего меня, он позвал к себе, благословил крестным знаменем и произнес: «Молись Богу, и Господь устроит твою жизнь». Затем начал ограждать себя крестным знаменем: положил три перста на чело, на грудь, на правое плечо и когда нес руку к левому — она упала и застыла до Второго Славного и Страшного Пришествия Господа нашего Иисуса Христа.

Во время болезни отца запомнился еще один случай: кто-то начал стрелять в другом конце деревни, поднялась паника, что расстреливают односельчан, все бросились бежать из домов в поле, лес, прятаться во ржи, кустах, ямах... А что нам делать? Ведь в избе тяжело больной, унести его нельзя. И вот отец, помню, строго всем нам приказал: «Немедленно бегите!» Мы со смущением и великой болью вышли из дому и побрели к ближайшему полю, засеянному рожью. Просидели там недолго, стрельба кончилась, и мы вернулись. Длилось это минуты, а нам они показались вечностью!

² О судьбах Комайской церкви см. в моей брошюре «Необыкновенное в обыкновенном», Клин, 1999, с. 8–18.

Мама была очень добрым человеком, спокойным, мягким, любила ходить в храм Божий, хотя он находился на значительном расстоянии от Комайска (примерно километров 7–8). В нашей же Комайской церкви, как приписной, богослужение совершалось редко (сегодня оно совершается, слава Богу, чаще). С собой мама всегда брала и меня. И вот однажды (это было до 1939 года) мы пошли на литургию с желанием причаститься Святых Христовых Таин. Дорога длинная, пока мы шли, пока совершалось богослужение, я так захотел есть, что задрожали и ноги, и руки. У мамы я настойчиво стал просить хлебушка, который мы принесли из дому. Мама отказала. И тогда я заявил, что если она не даст мне хлеба, я достану из своих карманов хлебные крошки (у деревенских мальчишек они почти всегда есть) и съем. Мама растерялась, вывела меня из храма. Я же действительно достал крошки, посмотрел на них — и вдруг у меня появилось желание бросить их воробушкам, прыгающим у моих ног. Добрая мысль была приведена в исполнение — и тут же голод сняло как рукой.

Когда я поступил в 1947 году в Минскую духовную семинарию (находится в Гродненской области), мама, хотя и очень желала, чтобы я учился, но провожала меня вся в слезах. Да и потом всякий раз, когда после каникул нужно было снова ехать на занятия, она всегда плакала. Бывало, проводит меня до конца деревни, благословит и останется стоять: стоит и смотрит мне вслед. Я пройду метров 100–200 оглянусь, пройду и еще оглянусь, а она все стоит и стоит, вытирая платочком глазки... Мне и сейчас кажется, что она стоит там до сих пор и ждет, когда вернется ее Костенька... А мне так хочется ей сказать: «Дорогая мамочка, не скорби — ведь не зря же ты меня с такой любовью провожала, стараясь заполнить чем-нибудь вкусненьким все мои сумочки, да еще наказать: «не забудь, в правом уголке лежат яблочки и помидорчики». Осталось ждать немного и, если будет на то милость Божия, мы скоро встретимся и уже никогда не расстанемся...»

Кончина мамы (†19 марта 1960 года), как и папы, была христианской. За два или три дня до кончины я навестил ее в больнице. Она внимательно, ласково и долго смотрела на меня, простилась со мной, поцеловала и, осенив крестным знаменем, сказала: «Спасибо тебе, что ты приехал и застал меня живой... Хотелось бы увидеть внука³, но уйду... Живите с Богом, в мире...»

Похоронили мы маму в одной ограде с папой. Брат Иван сделал из цемента два креста с основаниями, а я из Москвы привез две белых мраморных плиты, на которых вырезали такие слова: у папы — «Христос Воскресе», у мамы — «Воистину Воскресе». Рядом с ними лежит и внучок — младенец Иоанн, сын моего брата Ивана.

«Знаменитые путешественники»

Родился я 29 августа 1929 года — на следующий день после двенадцатого праздника — Успения

Божией Матери, когда Святая Церковь вспоминает Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворенного Образа Господа нашего Иисуса Христа (944 год). В этот же день чествуется и Феодоровская икона Божией Матери (1239 год). Так как я появился на свет слабеньким, то меня окрестили очень вскоре, 1 сентября. Упоминание града Константинополя определило мое имя. Родители мои считали, что каждый родившийся приходит «со своим именем», именем дня святого. Так получили свои имена и мои братья Феодор и Иван. Но в моем рождении есть некая особенность. Она состоит в том, что крестивший меня священник день крещения записал как день рождения. Потом с приходом советской власти его записи были изъяты ЗАГСом и с тех пор юридически у меня день рождения 1 сентября, а фактически — 29 августа. Но я радуюсь тому, что знаю и день моего духовного рождения в святом Таинстве Крещения.

В детстве у меня был большой друг — сосед Сережа. Он был немного старше меня (скончался в 12-летнем возрасте). Его постоянно куда-то влекло — в поле, в лес, к речке, а то и за границу — на советскую территорию. От него я никогда не отставал — и стали мы «знаменитыми путешественниками». Родители наши, из-за боязни, как бы что не случилось с «путешественниками», чинили нам всевозможные препятствия. Но они не могли держать нас все время взаперти. А нам с Сережей достаточно было несколько минут для сборов и «отчаливания». Нередко бывало так, что мы накануне назначали секретное место для встречи, потихоньку встречались, намечали маршрут и отправлялись. Впрочем, иногда на обсуждение маршрута не было времени, и потому по команде Сережи я следовал за ним, ничего не зная, куда он поведет. Домой возвращались только вечером — голодные, но не унывающие. Правда, подчас мы захватывали с собой кусочки хлеба, но, как правило, подкреплялись дарами природы — ели даже травку.

Помню, однажды куда-то далеко мы забрели, а стала надвигаться гроза, сверкала молния, грохотал гром, подул холодный ветер. Стало и зябко, и страшновато, и голодновато. Я взмолился к своему затейнику, чтобы он отвел меня домой. Но он был непреклонен. Тогда я решил было уйти сам, но как только отходил от него на метров десять, он истошно начинал кричать мне вслед: «Глядзі, пад тым камнем сядзіць Ганна!» — Ганна (Анна) была нашей соседкой и неделю тому назад умерла. Это «дружеское» предостережение словно током отбрасывало меня назад в прежние «объятия» друга. Я снова становился его послушным спутником, ожидая, пока он изволит завернуть наш путь к дому.

А бывало и поинтереснее: под руководством Сережи мы вдвоем несколько раз пересекали польско-советскую границу. И удивительно, ни разу не попались в руки пограничников. То, что нас не углядели польские пограничники — неудивительно: они как-то лениво проходили по тропинке вдоль заграждения из очень колючей и довольно опасной для наших штанишек проволки. Мы легко их отслеживали, и как только

³ Мама видела только фотографию Коли (родился 8 июня 1959 года).



Со схиархимандритом Митрофаном в Жировицкой обители



С архимандритом Кириллом (Павловым) на празднике преподобного Сергия

они скрывались за горкой, мы выходили из засады и пробирались сквозь «государственные препятствия». Но вот как нас не выловили советские пограничники — не могу понять до сих пор. Они зорко следили, чтобы враг не прорвался на их «священную» землю. Советские пограничники все время разъезжали вдоль границы на прекрасных лошадях, да и форма у них была что надо. Тем не менее мы оказались проворнее их. Это еще яснее становится, если читатель узнает, для чего же мы пересекали границу и становились государственными преступниками. А вот для чего: по ту сторону границы, на советской территории стоял пограничный столб, а на столбе красовались серп и молот. Как же было не соблазниться и не снять одно и другое со столба — какое прекрасное дополнение к нашим игрушкам! И мы сняли. А как? — Сережа становился на четвереньки как более крепкий, а я брал камень в руки и начинал им выламывать советские регалии. Сколько раз повторялись такие дерзкие выходы, не знаю, но в конце концов серп и молот оказались в наших руках и мы счастливые принесли их домой. Но тут нашему счастью пришел конец. Когда родители увидели «игрушки» и узнали, каким образом они добыты — пришли в неопишувемый ужас. Ну, а нам досталась хорошая порка березовыми розгами (благо в деревне берез много). Кроме того, на некоторое время мы были полностью изолированы. Когда нас выпустили из домашнего ареста — первая мысль была: а где добытый наш «скарб»? Мы пытались было потихоньку разыскать его, но наши усилия оказались тщетными. Напуганные родители сумели надежно спрятать взрывоопасное...

Как я скорбел, горевал, когда скоропостижно скончался Сережа! Эта скорбь не прошла до конца и сегодня, когда мне скоро исполнится 75! Всегда, когда я приезжал в Комайск, шел на кладбище к могилам родителей и подходил к маленькому, теперь заброшенному холмику Сережи. Подолгу стоял я возле него, и в мыслях пробегало много-много: то я снова переносился на просторные родные поля, то направлялся с Сережей в школу, подхватывая камушки и бросая их далеко-далеко, то забирался на крышу своего дома и терпеливо ждал, когда Сережа появится в том же положении, только у его хаты, то собирал по приказанию Сережи какие-то травы и корни для подкрепления ослабевших сил за долгий летний день... Иногда, стоя у его могилы, я улыбался, а чаще на глазах появлялись слезы... Упокой, Господи, душу отрока Твоего Сергия, прими его в Свои небесные селения — ведь он был славным мальчиком!.. Дорогой Сережа, ведь мы с тобой встретимся и будем вместе славить Творца Неба и земли!

С детства родители приучали меня к труду. В Польше вся земля принадлежала частникам. Наша семья имела четыре десятины земли — это немного больше четырех гектаров. Но у нас были: 1–2 лошади, столько же коров, 10–15 овец, 3–4 свиньи, 20–40 кур. Летом на лошадях уезжали в поле на работу, коровы и овцы выгонялись «на паству», а свиньи, куры и прочие домашние животные оставались в хлеву или «на панадворку». За ними надо было смотреть и вовремя кормить. В летнюю страду все взрослые уходили на полевые работы, а меня — мальчика (ведь это было до 1939 года) — оставляли хозяйничать дома. Надо было собрать и порубить для свиней траву, несколько раз



Выпускной курс Минской духовной семинарии, 1951 год

посыпать зерно курам, накопать к ужину картошку и почистить ее, помыть посуду, подмести полы, навести порядок и в доме, и на «панаворку»... Упустить что-либо было невозможно — и я все это делал!

В праздничные дни я очень любил ходить в храм Божий, особенно в нашу Комайскую церковь. Помню, приду за несколько минут до начала богослужения, стану впереди возле самой соли и так простою, стараясь даже не шевелиться, до самого конца. Глаза мои были устремлены только к иконам иконостаса — все земное для меня переставало существовать. Вот так бы молиться всю жизнь!..

Школа

Учиться я очень любил, да что я говорю — любил — я и сейчас не потерял этой любви к учебе. И сегодня во мне сохранилось, я бы сказал, умножилось стремление к познанию, тяга к книге, к чему-то новому. И сегодня, мне кажется, что многое для меня неизвестно, что в просторах науки (прежде всего, духовной) я где-то затерялся, что надо еще идти и идти, а горизонт знаний все подымается и отодвигается — так просто к нему и не подойдешь... Убедительным свидетельством этой тяги было то, что на старости лет (после шестидесяти) я взялся было за доучивание английского языка и лишь сердечные приступы заставили меня убрать подальше все учебники... Можно было и еще кое-что добавить к этому, но боюсь, что потребуются лишние страницы, которые читатель, скорее всего, перелистнет, как что-то ненужное...

Начальное и среднее образование мое сложилось из школ польской (в Польше), советской (в 1939–1941), немецкой (1941–1944) и снова советской.

В польской и немецкой школе наряду с другими предметами изучали и Закон Божий. Преподавал его диакон Докшицкой церкви Владимир Старикевич. Так как в польской школе разрешались и физические наказания (в немецкой — не помню, а в советской — известно: строго запрещалось бить учащихся), то диакон пользовался ими весьма сурово (может быть, потому и запомнился). Неподготовившегося к уроку диакон ставил в угол на колени. Иногда на пол посыпали жерстью (крупный песок), которую приносили от соседней гор-

ки. Более провинившиеся должны были поднять штанишки и стать на песок голыми коленками. Когда я учился в Минской духовной семинарии и, приезжая домой на каникулы, посещал храм, где служил Старикевич, он брал меня за плечи и громовым голосом пред лицом причта и гостей докладывал: «Это мой ученик! Смотрите!» Ох, как мне хотелось напомнить ему, как он нас муштровал, но решимости не хватало — не хотелось портить настроения... К тому же за это время, пройдя через горнило военных испытаний, он стал уже совсем другим человеком.

Военные годы на время прервали мое обучение⁴. Но я, приученный с детства к труду, продолжал заниматься самостоятельно: изучал математику, физику, химию, историю, литературу... За время самообучения я всего-навсего получил не более пяти консультаций по математике. Все прочее изучал по учебникам и сразу поступил в 10-ый класс одной из московских вечерних школ. Я не оговорился, сказав, что поступил в московскую школу (она находилась недалеко от Богоявленского Елоховского собора). Да, это было тогда, когда я уже пребывал в Московской духовной академии. Заниматься в 10-м классе было нелегко: кое-где чувствовались пробелы, но самая большая трудность была в ином. О том, что я учился, в Академии никто не знал, а в школе не знали, кто я. Если бы узнали, то мне бы грозило: в лучшем случае — исключение из школы, в худшем — и из Академии. Обстановка осложнилась еще тем, что в школе я учился на «отлично», и меня на учительском совете определили «повесить» на доске почета. Для меня это было, действительно, «повешенье». До сих пор меня в лицо знал только наш класс, а теперь узнает вся школа. Я, естественно, стал убегать от фотографа под разными предлогами. Но меня просто-напросто «выловили» — я пришел в школу, а классный руководитель вызвал фотографа. Деваться некуда. И вот я оказался во втором полугодии на доске почета (у меня где-то хранится фото всех нас на доске почета). Пребывал я на ней и в первом полугодии следующего учебного года, когда меня в школе уже не было. Школу я окончил с серебряной медалью. И опять искушение: сразу мне не смогли выдать медаль и потому отложили до праздничных дней школы, чтобы вручить ее в торжественной обстановке. Но этого мне как раз и не нужно было. Я опять-таки не являлся к назначенным срокам. В конце-концов мне выдали ее в присутствии нескольких преподавателей... А напоследок хотелось бы сказать несколько слов о своих учителях: они были любящими, понимающими, преданными своему делу. Некоторые их методы преподавания я усвоил настолько крепко, что вот уже в течение более четырех десятков лет применяю их в своей преподавательской работе... Спасибо Вам, многоуважаемые мои учителя⁵. Да хранит Вас Господь в мире и благополучии! А если кто из Вас ушел в мир иной, да примет Вас Господь с милостью!

⁴ См.: «С 1947 года... (воспоминания)», с. 20

⁵ Некоторых преподавателей я помню по именам, но не называю, ибо не знаю, угодно ли им будет.